16+

КОТЕЛЬНЯ

роман



Она сжигает имена,
чтобы город не замёрз

АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ ЖАРКОВ

МОСКВА · 2026

18+

Александр Жарков
Котельня

https://litres.ru/74934684
SelfPub; 2026

Аннотация

Тёплый Лог — город, где зимой не бывает холодно. За это надо платить.

Катя Зотова восемь лет работает истопником в котельной 4 и не задаёт лишних вопросов: уголь, пар, журнал смены, сын, мать, зарплата. Пока однажды в топку не попадает бумажка с чужим именем — и наутро женщина на рынке не узнаёт родного брата на фотографии.

В старой книге учёта — триста двенадцать имён. И одно новое: имя её матери.

Чтобы спасти её, Кате придётся узнать, чем город платит за тепло, кто подписывает согласия и что находится за заваренной дверцей котла.

Тепло — это не то, что горит. Тепло — это то, что помнят.

Содержание

Часть I 4
Глава 1 4
Глава 2 15
Глава 3 24
Глава 4 35
Конец ознакомительного фрагмента. 41

Александр Жарков
Котельня

«Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовётся, —
И нам сочувствие даётся,
Как нам даётся благодать...»
Фёдор Тютчев, 1869

Часть I
Уголь

«Уголь — это не топливо. Уголь — это то, что осталось от людей, которых мы решили не помнить.»
Из инструкции истопника котельной №4, 1954

Глава 1
Ночная смена

Я работала в котельной №4 восемь лет. За это время я сожгла триста двенадцать человек. Ни один из них не умер от огня.

Не всех — своими руками. Но огонь горел потому, что я

его кормила.

Об этом не пишут в инструкции. В инструкции написано: «Оператор обязан следить за давлением, температурой теплоносителя и уровнем воды в котле. Поддерживать горение. Не допускать загазованности. Вести журнал смены». Про людей там нет ни слова. Люди появляются позже, между строк, вместе с углём.

В ту ночь на улице было минус тридцать один. Ветер с реки заходил в трубу и выл так, что стекло в операторской дребезжало. Я сидела на продавленном диване, пила чай с заваркой, которую заваривала три раза, и слушала котельную. Котельная — это не тишина. Это дымосос, который гудит, как большой шмель. Это насосы, которые перекатывают воду. Это треск угля в топке и редкий металлический вздох трубы, когда ветер меняет направление. Привыкаешь. Через восемь лет я засыпала под это и просыпалась за секунду до того, как падало давление.

У нас две топки. Чугунные, старые, пятьдесят четвёртого года. Я как-то спросила Аркадия, почему котлы называются «Универсал-5». Он сказал: «Потому что универсальные». Я посмотрела в паспорт. Никакой универсальности там не было. Просто чугун. Просто вода. Просто огонь.

Смену я приняла в восемь вечера. Толя сдал мне её быстро, как сдают чужой долг.

— Давление в норме, — сказал он. — Вода в норме. Уголь в норме. Всё в норме, кроме моей жизни.

— Опять?

— Опять. — Он натянул шапку. — Она мне сказала: «Ты дома спишь, а я одна». Я говорю: «Я не сплю, я на смене». Она говорит: «Всё равно». Логика, Катя. Женская логика.

— Угу.

— Ты вот мужа бросила, — сказал он. — И правильно. Они без этого не понимают.

Муж меня не бросил. Я его выгнала. Но Толе было неинтересно, кто кого. Он ушёл, оставив на столе свою кружку — жёлтую, с отбитой ручкой, в которой плескалась холодная заварка. Я вымыла кружку и поставила в шкаф. Каждую смену я мыла за ним кружку. Он этого не замечал. Я тоже не замечала, что мою.

В час двадцать в дверь котельной постучали. Я открыла. На пороге стоял мужик из пятого дома — пальто, тапки, без шапки. От него пахло так, что можно было не топить до утра.

— Зотова, — сказал он. — Пусти погреться. Я на пять минут.

— Пять минут — и всё.

— Зуб даю.

Он сидел двадцать. Пил чай, рассказывал, как в девяносто шестом работал на Севере и получал зарплату в долларах. Я не слушала. Я смотрела на манометр.

— Ты хорошая, — сказал он на прощание. — Тебя Бог за это...

Он не закончил. Не потому, что передумал. Просто забыл,

что хотел сказать.

— Иди домой, — сказала я. — И шапку надень.

Он ушёл. Я закрыла дверь на крючок и подумала: Бог тут ни при чём. У меня просто чайник на плите.

В два сорок я открыла топку. Заслонка тяжёлая, чугунная, с ручкой, обмотанной тряпкой. Внутри — белое и оранжевое, как будто в глубине печи кто-то открыл глаза. Жар ударил в лицо. Я взяла совковую лопату, набрала угля из ящика и бросила.

Уголь у нас плохой. Привозят с севера, смешанный, с породой. Иногда попадаются камни, иногда щепки, иногда бумажки. Я привыкла вытаскивать из ящика всё, что не горит: гвозди, проволоку, куски рубероида. В ту ночь под лопатой что-то белело.

Я посветила фонариком. Обрывок бумаги, сложенный вчетверо. Не чек, не этикетка. Плотная, как старый конверт. Я развернула.

Внутри, синими чернилами, было написано: «Мельник Григорий Павлович».

Почерк был аккуратный, школьный. Буквы стояли ровно, с наклоном вправо. Внизу — маленькая цифра: «12».

Я подумала: записка. Кто-то из рабочих выбросил. Или из дома кто-то принёс мусор в котельную. У нас с этим просто: зимой в подвал тащат всё, что не помещается в мусорный контейнер. Я сама однажды нашла здесь кошачью переноску и три тома «Войны и мира».

Бумажка была сухая и тёплая. Я бросила её в топку вместе с углём.

Она не загорелась сразу. Секунду лежала на углях, белая, как кость. Потом по краю побежал синий огонь — не жёлтый, не оранжевый, а именно синий, ровный, как в газовой горелке. Бумага свернулась, и я увидела, как буквы на мгновение проступили чётче, будто их подсветили изнутри. Потом всё исчезло.

В котельной стало тише. Не знаю, как это объяснить. Дымосос гудел, насосы работали, уголь трещал. Но на секунду мне показалось, что стены придвинулись ближе, а воздух стал плотнее, как перед грозой.

Я закрыла заслонку и вернулась на диван.

В журнале смены я записала: «02:45. Топка. Уголь. Давление 4,2. Температура 78. На улице −31».

Больше ничего.

Утром я сдала смену Толе — он пришёл в семь, с красными глазами и запахом вчерашнего, — натянула пуховик, шапку, валенки с галошами и вышла на улицу. Мороз ударил в лицо, как мокрая тряпка. Небо было серое, низкое. Над трубами стояли белые столбы пара. Город просыпался: в окнах зажигался свет, по дороге полз первый автобус, дворник скрёб лестницу.

На рынке я купила хлеб и молоко. Продавщица Валентина, полная женщина в пуховом платке, отсчитывала сдачу и вдруг сказала:

— Кать, ты вчера на смене была?

— Была.

— Гришу моего не видела?

Я знала её брата. Григорий Мельник, пятьдесят четыре года, бывший грузчик с лесопилки. Последние годы он пил, жил в бытовке за гаражом, иногда подрабатывал у нас — чистил снег. Летом он приходил в котельную греться, сидел на ящике у стены и рассказывал, как в молодости ходил на сейнере. Я не любила эти разговоры, но чай ему наливала.

— Нет, — сказала я. — А что?

Валентина достала из сумки фотографию. Снимок был старый, ещё плёночный, с белой рамкой. На нём стояли двое: Валентина, молодая, в цветастом платье, и мужчина в клетчатой рубашке, с усами и тяжёлыми руками.

— Вот, — сказала она. — Он вчера не пришёл. Я обзвонила всех. Может, видел кто.

Я посмотрела на фотографию. Я хорошо знала Гришу: широкое лицо, усы, шрам на подбородке. Я собиралась сказать, что видела его вчера днём, когда он чистил дорожку у третьего подъезда.

Но на фотографии лица не было.

Не то чтобы его закрасили или вырезали. Лицо было на месте: овал, уши, волосы. Но там, где должны были быть глаза, нос и рот, стояло белое пятно. Ровное, как будто бумагу передержали на свету. И только руки — большие, тяжёлые, с обветренными пальцами — оставались чёткими.

Я моргнула. Пятно не исчезло.

— Валентина, — сказала я. — А кто это?

Она посмотрела на меня с недоумением.

— Кто?

— На фото. Мужчина.

Она перевела взгляд на снимок и нахмурилась.

— Не знаю, — сказала она медленно. — Странно. Я эту фотографию сто лет ношу. А не помню, кто это. Брат, что ли...

Она замолчала. В её глазах что-то шевельнулось, как рыба подо льдом, и ушло.

— Гриша, — сказала она наконец. — Гриша Мельник. Мой брат. Он вчера не пришёл.

— А какое у него лицо? — спросила я.

Валентина посмотрела на фотографию. Потом на меня. Потом снова на фотографию.

— Нормальное, — сказала она. — Как у всех.

Я забрала сдачу и пошла домой. Всю дорогу мне казалось, что за спиной кто-то идёт. Я оборачивалась. Никого.

Дома было тепло. У нас служебная квартира на первом этаже, два окна во двор, батареи, которые я сама регулировала. Зимой у нас теплее, чем у людей на третьем этаже. За это я и держусь.

В прихожей пахло борщом и мокрой шерстью. Тимка сидел на кухне с ингалятором, бледный, с синими кругами под глазами. Он всегда так выглядит после ночи: астма обостря-

ется к утру.

— Мам, — сказал он. — Ты чего?

— Ничего. Мороз.

— У тебя лицо, как будто ты увидела привидение.

— Я увидела цены на молоко.

Он засмеялся. Кашель у него был сухой, с присвистом. Я посчитала вдохи, как учила пульмонолог: раз, два, три... Двадцать два в минуту. Много. Я дала ему ингалятор. Он вдохнул, задержал дыхание, выдохнул. Ему было одиннадцать, и он делал это лучше меня.

Мать сидела у окна в кресле. Она смотрела во двор, на снег, и что-то шевелила губами. В последнее время она почти не говорила. Деменция шла медленно, как вода под лёд: сначала она забывала, где лежат ключи, потом — как включать плиту, потом — имена соседей. Теперь она забывала, кто я.

— Люда, — сказала я. — Это я, Катя.

Она повернулась. Посмотрела на меня внимательно, как на чужую женщину, которая без разрешения вошла в дом. Потом улыбнулась.

— Катя, — повторила она. — Хорошее имя. У меня была девочка с таким именем.

— Это я и есть.

— Нет, — сказала она спокойно. — Моя девочка маленькая. Она ходит в школу. У неё рюкзак с мишкой.

Она снова отвернулась к окну.

Я разделась, прошла в комнату и достала с антресолей коробку с фотографиями. Там лежали старые снимки: мама молодая, в платье с воротником; я в первом классе; Тимка в роддоме, завёрнутый в одеяло, как конфета. И отдельно, в целлофановом пакете, — фотография отца.

Николай Степанович Зотов. Истопник котельной №4. Он умер, когда мне было четырнадцать. Точнее, не умер. Он ушёл в лес и не вернулся. Так говорили. Милиция искала его три дня, потом сказала, что он, скорее всего, замёрз. Тела не нашли. Мать получила бумажку: «пропал без вести».

Я помню его руки. Большие, горячие, с чёрными трещинами на пальцах. Помню, как он держал меня за плечи и говорил: «Катя, если что — иди в котельную. Там всегда тепло». Помню, как он свистел. Какую-то песню, я не знаю её названия. Мелодия была простая, как считалка.

Лица не помню.

На фотографии был мужчина в ватнике, с лопатой в руках. Он стоял на фоне котельной, щурился от солнца. Я долго смотрела на снимок, пытаясь собрать лицо из отдельных черт: нос, брови, линия рта. Черты были на месте. Но вместе они ничего не давали. Как будто смотришь на слово, которое сто раз повторял и которое вдруг потеряло смысл.

Только руки. Руки были чёткими. Большие, горячие, с обветренными пальцами.

Я посмотрела на свои руки. Под ногтями была угольная пыль. Я всегда её отмывала, но в этот раз она не отмывалась.

Чёрные точки сидели в трещинах кожи, как маленькие буквы. Руки у меня были как у грузчика. Я не жаловалась. В котельной другие не держатся.

Я убрала фотографию в коробку и пошла на кухню. Тимка доел кашу и смотрел в телефон. Мать спала в кресле. За окном шёл снег. По телевизору показывали новости: в районе объявили штормовое предупреждение, в соседнем городе прорвало теплотрассу, люди сидят без горячей воды. Диктор говорил бодро, как будто это была не беда, а погода.

Внизу, в подвале, гудела котельная.

Я налила себе чай и села напротив Тимки. Он поднял голову.

— Мам, а дядя Гриша придёт сегодня снег чистить?

— Не знаю, — сказала я.

— А чего?

— Он, наверное, уехал.

— Куда?

— В Вологду. К дочке.

— У него была дочка?

Я открыла рот, чтобы ответить, и вдруг поняла, что не помню. Я знала, что у Гриши была дочь. Он говорил о ней. Но ни имени, ни лица, ни города не осталось. Только слово «дочка», пустое, как обёртка.

— Была, — сказала я. — Наверное.

Тимка пожал плечами и вернулся в телефон.

В ту ночь мне приснился огонь. Он не ревел и не жёг. Он

лежал в топке, ровный и синий, как вода в проруби. И кто-то в нём шевелился. Небольшой, сгорбленный, в тулупе. Он поднимал голову и смотрел на меня сквозь чугун.

— Зотова, — сказал он. — Ты почему не спрашиваешь?

Я проснулась от того, что Тимка кашлял.

За окном было ещё темно. На часах — четыре утра. Я дала ему ингалятор, налила тёплой воды. Он уснул, держа меня за палец. Мать спала в кресле, и во сне она называла какое-то имя. Я прислушалась.

— Коля, — говорила она. — Коля, не надо.

Я не знала, кто такой Коля.

В котельной внизу что-то стукнуло. Один раз, глухо, как будто изнутри топки в дверцу ударили ладонью.

Я посмотрела на пол.

Под нами, в подвале, горел огонь, который согревал восемь тысяч человек. Он горел с 1954 года и ни разу не гас.

В ту ночь я впервые подумала: а чем он, собственно, топится?

Глава 2
Книга учёта

На следующее утро я пришла на смену раньше. Толя удивился, но спорить не стал: ему хотелось домой. Он передал мне ключи, сказал, что давление в норме, и ушёл, оставив на столе недопитый чай и свою жёлтую кружку.

Я вымыла кружку. Сама не заметила, как вымыла.

В операторской было тепло и пахло углём. За окном светлело. Я прошлась по котельной, проверила котлы, потрогала трубы — они гудели ровно, как кровь в виске, — и остановилась у стола.

Стол у нас старый, с тумбой и тремя ящиками. В верхнем лежали журналы смены, ручки, пачка чая, коробок спичек. В среднем — инструкции, папки с нарядами, старые квитанции. Нижний ящик всегда был заперт. Ключ висел на гвозде за шкафом, и все о нём знали.

Я искала квитанцию за свет. Она должна была лежать в среднем ящике, но её там не было. Я поискала в верхнем. Потом посмотрела на нижний.

Ключ я сняла с гвоздя и открыла.

Внутри лежала книга. Большая, в тёмно-зелёном коленкоровом переплёте, с потёртыми углами. Она была завёрнута в промасленную тряпку, как рыба в бумагу. Я развернула.

На обложке, выцветшими чернилами: «Книга учёта тепла

котельной №4. Начата 6 января 1954 года».

Я открыла первую страницу.

Бумага была плотная, желтоватая, с водяными знаками. Слева — колонка дат. Потом — температура на улице. Потом — имя. Потом — подпись истопника. И примечание.

Первая запись была сделана крупным, размашистым почерком:

«6 января 1954. –41°. Кузьмин Иван Фёдорович. Принят в топку добровольно. Подпись: Кузьмин».

Ниже, тем же почерком, приписка: «Детей в бараке — одиннадцать. Больных — четверо. К утру все живы».

Я перевернула страницу. Дальше шли другие имена. Другие почерки. Даты, температуры, фамилии. «Ерохин Пётр Ильич». «Смирнова Анастасия Львовна». «Гусев Матвей Аркадьевич». Между ними — приписки: «принято», «возвращено», «не принято», «взамен».

Я листала медленно, как будто шла по кладбищу и читала надгробия. Триста двенадцать записей. Триста двенадцать человек. Больше, чем население нашей пятиэтажки. Меньше, чем население города.

Некоторые страницы были исписаны до краёв. На одной, за пятьдесят седьмой год, кто-то приписал внизу детским почерком: «Мама, я тебя помню. Таня». Я посмотрела на дату. Пятьдесят седьмой. Если Таня была тогда маленькой, сейчас ей за семьдесят. Может, она до сих пор живёт в этом городе. Может, забыла, что писала.

В 1971 году появилась запись: «Пахомова Анна Тимофеевна. Не принята. Истопник Егоров С. С. — принят взамен». На полях кто-то приписал карандашом: «Дура неграмотная. Имя написать не дала».

В 1989-м — «Зотов Николай Степанович. Принят на работу». Это была не запись об огне, а отметка о приёме. Я узнала почерк: тот же, что в моём свидетельстве о рождении, в школьных дневниках, в записках на холодильнике.

Я перевернула страницу. 1998 год.

«Игнатьева Инна Львовна. Принята. Подпись: Игнатьев А. И.». Примечание: «Больница. Кровля. Дизель».

Я закрыла глаза. У Аркадия Игнатьевича была жена. Я знала это, потому что в конторе на стене висела фотография: женщина в синем пальто, смеётся, держит в руках ветку сирени. Аркадий никогда не говорил о ней. Я думала, она умерла.

Я листнула дальше.

2004 год.

«7 января. −43°. Зотова Людмила Петровна. Не принята. Взамен: Зотов Николай Степанович. Подпись: Зотов Н. С.».

Я смотрела на эти строки, пока буквы не поплыли. Потом прочитала ещё раз. Потом ещё.

Отец не ушёл в лес. Отец не замёрз. Отец отдал своё имя. Вместо матери.

Внизу, под записью, была приписка, сделанная другим почерком, мелким и аккуратным:

«Долг перенесён. Срок — двадцать лет. Проценты — по памяти».

Я не сразу поняла, что это значит. Потом поняла: двадцать лет. 2004-й плюс двадцать — 2024-й. Уже прошло. Значит, долг просрочен. Значит, огонь ждал.

За спиной скрипнула дверь.

Я обернулась. В дверях стояла Нюра — Анна Тимофеевна, наша уборщица. Ей было семьдесят девять, но выглядела она старше: маленькая, сухая, в сером халате, с платком на голове. В руке она держала ведро и тряпку. Она смотрела не на меня, а на книгу.

— Положи, — сказала она.

— Нюра, это что?

— Положи, — повторила она. — Не твоё.

— Здесь мой отец.

Она подошла ближе. Поставила ведро на пол. Её лицо было спокойным, как у человека, который давно перестал удивляться.

— Здесь все, — сказала она. — И твой отец. И моя мать. И Гриша. И ещё триста человек. Ты думаешь, ты первая, кто её открыл?

— Почему вы не сказали?

— А что говорить? — Она пожала плечами. — Ты восемь лет топишь. Ты разве не чувствовала?

Я хотела сказать, что нет. Но вспомнила, как иногда, бросая уголь, чувствовала, что топка «отвечает». Как иногда ка-

залось, что в гуле дымососа есть голоса. Как иногда я просыпалась от того, что кто-то называл меня по имени.

— Я думала, у меня нервы, — сказала я.

— Это не нервы, — сказала Нюра. — Это топка. Она зовёт.

Она наклонилась над книгой. Не коснулась, только посмотрела.

— Читать умеешь? — спросила она.

— Конечно.

— Я не умею. Ни читать, ни писать. Поэтому до сих пор живая. Меня нельзя вписать. Меня можно только запомнить.

Она выпрямилась.

— Слушай сюда, Катя. То, что ты сейчас прочитала, ты прочитала про себя. Правильно. Читай только про себя. Вслух не читай никогда.

— Почему?

— Потому что имя, которое произносят вслух, возвращается. А возвращать надо уметь. Иначе вернёшь не того. Или не туда.

— Что это значит?

Нюра посмотрела на топку. За чугунной заслонкой гудело.

— Огонь берёт не человека, — сказала она. — Огонь берёт имя. Пока имя в книге, человек ещё есть. Он ходит, ест, спит. Но его уже никто не помнит. Сначала чужие. Потом свои. Потом он сам. А когда он сам себя не помнит — он уходит. Не умирает. Просто перестаёт быть.

— Гриша Мельник, — сказала я. — Я сожгла его имя вчера. Я не знала.

— Знаю, — сказала Нюра. — Валентина уже приходила. Утром. Стояла у ворот, спрашивала, не видел ли кто её брата. А потом достала фотографию и долго смотрела. Говорит: «Я эту фотографию сто лет ношу, а не помню, кто это». И заплакала.

Я почувствовала, как к горлу подкатывает тошнота.

— Его можно вернуть?

— Можно, — сказала Нюра. — Если есть кому помнить. У него дочь в Вологде. Ты знаешь, где она живёт?

— Нет.

— И я нет. А без этого — никак. Огонь не отдаст. Он уже съел.

Она взяла ведро и пошла к выходу. У двери остановилась.

— И ещё. Книгу положи на место. Аркадий Игнатьевич придёт — не зли его. Он не злой. Он просто давно решил, что так надо.

— Так надо? — сказала я. — Он сжёг жену.

Нюра не обернулась.

— Он её не сжёг. Он её отдал. Разница есть. Только маленькая.

Она вышла.

Я осталась одна. В котельной гудело. Я посмотрела на книгу. Потом достала телефон и сфотографировала страницы. Все. Каждую. Руки дрожали, но телефон держал фокус. Три-

ста двенадцать записей. Триста двенадцать имён.

Последняя страница была пустой. Я уже хотела закрыть книгу, когда увидела внизу, у самого корешка, свежую строку. Чернила ещё блестели.

«13 января 2026. Зотова Людмила Петровна. Резерв».

Я прочитала три раза. Потом закрыла книгу и положила её в ящик. Заперла. Повесила ключ на гвоздь.

В операторскую вошёл Аркадий Игнатьевич. Он всегда входил без стука, как будто котельная была его кабинетом. В костюме, в пальто, с портфелем. На улице минус тридцать, а он в туфлях. Я не понимала, как у него ноги не отваливаются. Наверное, ему было не до ног.

— Зотова, — сказал он. — Ты чего тут?

— Смену принимаю.

— Смену она принимает. — Он посмотрел на стол. — Ящик открывала?

— Открывала.

Он молчал. В котельной гудело.

— Что там? — спросила я.

— Архив, — сказал он. — История предприятия.

— Там имена.

— Там учёт. — Он поправил галстук. — Тепло — это ресурс, Зотова. Его надо учитывать. Ты же ведёшь журнал смены. Почему я не могу вести журнал предприятия?

— Там имя моей матери.

Аркадий посмотрел на меня. У него были усталые глаза,

как у человека, который давно не спит.

— Твоя мать, — сказал он, — подписала согласие в 2004 году. Добровольно. Я тебе покажу. Она понимала, на что идёт.

— Она была больна.

— Она была в здравом уме. — Он сказал это мягко, почти виновато. — Катя, я не враг. Я двадцать лет держу город в тепле. Ты знаешь, что будет, если котельная встанет? Восемь тысяч человек. Школа. Больница. Детский сад. Ты хочешь, чтобы они замёрзли?

— Я хочу знать, почему за них платят другие.

— Потому что кто-то должен, — сказал он. — Всегда кто-то должен.

Он достал из портфеля конверт и положил на стол. Тонкий, как конверты из собеса.

— Что это?

— Премия.

— За что?

— За переработку. В декабре ты выходила четыре раза. Я помню.

Я не выходила. В декабре болел Тимка, и Толя подменял меня. Но конверт лежал на столе, и в нём было, судя по толщине, тысяч пять. Ингалятор Тимке стоил четыре двести. Ещё восемьсот оставалось на молоко и хлеб.

— Это взятка, — сказала я.

— Это премия, — сказал он. — Взятка — это когда ты

что-то делаешь. А ты ничего не делаешь. Ты просто держишь язык за зубами. За это платят отдельно.

Он повернулся и вышел. Дверь за ним закрылась мягко, как в кабинете.

Я стояла и смотрела на конверт. Потом взяла его. Потом положила в карман. Потом села на диван и просидела так, наверное, минут десять, пока не поняла, что забыла закрыть рот.

Дома, когда я вернулась, мать стояла в прихожей в пальто и шапке. В руках она держала сумку.

— Ты куда? — спросила я.

— В котельную, — сказала она. — Меня Коля зовёт.

— Какой Коля?

Она посмотрела на меня, и в её глазах на секунду появилось что-то старое, ясное, как вода в проруби.

— Твой отец, — сказала она. — Он там. Он сказал, что согреется.

Я взяла её за руки. Они были холодные.

За стеной, в трубах, что-то стукнуло. Один раз. Потом ещё раз. Как будто кто-то изнутри просил открыть.

Глава 3
Список

Согласие лежало в серванте, между паспортом и старой трудовой книжкой. Я нашла его, когда искала документы для поликлиники: матери нужно было продлить рецепт.

До поликлиники мы не дошли. В кабинете врач, женщина моего возраста с усталым лицом, спросила:

— Она вас узнаёт?

— Иногда, — сказала я.

Мать сидела рядом и с интересом рассматривала плакат с профилактикой гриппа. На плакате был нарисован человек, который чихал в локоть.

— А сколько ей лет?

— Шестьдесят четыре.

— А выглядит на восемьдесят. — Врач посмотрела в карту. — Деменция. Средняя стадия. Уход нужен постоянный. Вы работаете?

— Работаю.

— Кем?

— Истопником.

Врач подняла голову.

— Кем?

— Истопником. В котельной.

— А. — Она что-то записала. — Ну, значит, у вас тепло.

Я не стала объяснять, чего мне это стоит.

Дома я искала страховой полис и нашла согласие. Обычный лист А4, сложенный вчетверо. Внизу — печать администрации, подпись Гущина, дата: 7 января 2004 года.

Текст был напечатан на машинке, с одной опечаткой в слове «муниципального».

«Я, Зотова Людмила Петровна, 1962 года рождения, проживающая по адресу: г. Тёплый Лог, ул. Заводская, д. 14, кв. 3, добровольно даю согласие на передачу моего имени в топку котельной №4 в случае, если это потребуется для обеспечения теплоснабжения города. Претензий к администрации МУП "Теплосеть" не имею. О последствиях предупреждена».

Подпись была размашистая, с сильным нажимом. Мамина. Я видела её тысячу раз: в дневниках, в квитанциях, в открытках.

Но ниже, под подписью, была приписка, сделанная от руки:

«Взамен себя оставляю мужа, Зотова Николая Степановича. Прошу считать долг закрытым. Игнатьев».

Я села на пол в коридоре и долго смотрела на эту строчку. Потом сложила лист и убрала обратно в сервант.

Мать спала. Тимка был в школе. Я надела куртку и вышла.

Контора Теплосети занимала первый этаж пятиэтажки, прямо над котельной. Между нами была одна бетонная плита и вентиляционная шахта, которая шла из подвала в каби-

нет Аркадия. Зимой через неё было слышно всё: как он говорит по телефону, как ругается с бухгалтерией, как гремит чайной ложкой.

Я поднялась по лестнице и остановилась у двери. В кабинете были люди.

Дверь была не просто закрыта. Её подпёрли стулом.

Я постояла. Потом вернулась на первый этаж, вышла во двор, поднялась по пожарной лестнице на второй этаж и приникла к решётке вентиляции. Решётка была старая, с осыпавшейся краской. Из неё пахло кофе и бумагой.

— ...по прогнозу, с двенадцатого, — говорил Аркадий. — Ночью до минус сорока. Ветер. Три дня.

— Три дня город не протянет, — сказал женский голос. Вера Павловна, главврач. — У нас дизель на шесть часов. Шесть, Аркадий. Потом реанимация встанет.

— Значит, надо успеть до двенадцатого.

— Успеем. Если не будем тянуть.

Я прижалась к решётке. В кабинете звенела ложка о стакан.

— Кого? — спросил другой голос. Гущин, глава администрации. — У нас в резерве трое. Мельник уже ушёл. Сам написал, в декабре. Был пьян, но рука твёрдая. Тихонов, Ветров и Зотова.

Я услышала, как внутри что-то упало. Не в кабинете. Во мне.

— Зотова под вопросом, — сказал Аркадий. — У неё дочь

работает истопником. Может быть скандал.

— У неё дочь работает у тебя. Ты и решай.

— Я решаю не один. Мы все решаем.

— Хватит, — сказал старый голос. Отец Сергий. — Не надо делать вид, что это совет. Это список. Мы его читаем, а не составляем.

— Сергий, — сказала Вера Павловна. — Ты каждый год говоришь одно и то же. И каждый год приходишь.

— Потому что я не могу не прийти. — Голос был тихий, усталый. — Кто-то должен сказать им, что их не забыли. Хотя бы перед тем, как мы их забудем.

— Мы не забываем, — сказал Гущин. — Мы обеспечиваем жизнедеятельность.

— Это одно и то же, Пётр Ильич. Просто слова разные.

Я стояла на пожарной лестнице, держась за холодный поручень, и слушала, как они обсуждают мою мать, как обсуждают смету на уголь. Голоса были спокойные, деловые. Кто-то налил воды. Кто-то подвинул стул. Кто-то — я слышала по звуку — взял печенье.

— По Тихонову всё готово? — спросил Аркадий.

— Виктор Андреевич согласился, — сказала Вера Павловна. — Он подписал ещё в ноябре. Он понимает.

— Он понимает, что его не будут помнить?

— Он понимает, что ему негде жить. И что зимой он умрёт на вокзале. Он выбрал тепло для других. Это не худший выбор.

— Это не выбор, — сказал отец Сергий. — Это сделка.

— Мы все в сделке, — сказал Аркадий. — С самого начала.

Я больше не могла слушать. Я спустилась по лестнице, вошла в подъезд и поднялась в контору. Дверь открыла сама. Стул отъехал в сторону с деревянным стуком.

Они сидели вокруг стола: Аркадий в костюме, Вера Павловна в белом халате, Гущин с папкой, отец Сергий в старой рясе, ещё двое — начальник полиции и директор школы. На столе стояли чайник, печенье и лист бумаги с тремя фамилиями.

Все посмотрели на меня.

Я стояла в дверях в валенках, с которых на паркет натекло. Под валенками уже образовалась тёмная лужа.

— Зотова, — сказал Аркадий. — Тебе чего?

— Моя мать, — сказала я. — В списке.

Никто не ответил.

— Она больна, — сказала я. — Она не понимает, что подписывает.

— Она подписала двадцать лет назад, — сказала Вера Павловна. — Когда была здорова.

— Она подписала, потому что вы ей сказали, что иначе умрёт её муж.

— Её муж сам принял решение. — Вера Павловна смотрела на меня без злобы, как на пациента. — Катя, сядь. Выпей воды.

— Я не хочу воды.

— Хочешь. — Она пододвинула мне стакан. — Ты сейчас в шоке. Это нормально. Я тебе объясню.

— Я всё слышала.

— Тогда ты знаешь, что мы не злодеи.

Я посмотрела на отца Сергия. Он смотрел в стол. Перед ним лежала книга в кожаном переплёте, и он держал её двумя руками, как держат ребёнка.

— Вы собираетесь убить мою мать, — сказала я.

— Мы собираемся не дать умереть городу, — сказал Гущин.

— За счёт моей матери.

— За счёт имени, — сказал Аркадий. — Она не умрёт. Она забудет. Мы все забудем. Это гуманнее, чем холодная смерть.

— Вы сожгли свою жену, — сказала я. — Вы её помните?

В кабинете стало тихо. Аркадий медленно поставил чашку.

— Помню, — сказал он. — Я помню её пальто. Синее. С пуговицами. И как она пахла. Сиренью. Больше ничего. — Он посмотрел на меня. — Я двадцать лет плачу за то, что она ушла не в морге, а в топке. Я знаю цену. Я не предлагаю тебе её не знать.

— Вы предлагаете мне её заплатить.

— Я предлагаю тебе выбрать. — Он встал. — Двенадцатого января нам нужно имя. Или мы останавливаем котёл. И

тогда город замерзает. Не через месяц. Через сутки. На улице минус сорок. Ты понимаешь, что это значит?

— Понимаю.

— Нет, не понимаешь. — Он подошёл к окну. — Ты видела, как выглядит человек, который замёрз? Он не синий. Он белый. Как бумага. И он не кричит. Он просто садится и засыпает. Дети засыпают первыми. Потом старики. Потом все остальные. Я видел это один раз. В девяносто восьмом. Больше не хочу.

— И поэтому вы каждый год выбираете кого-то?

— Поэтому я каждый год выбираю одного вместо тысячи. — Он повернулся. — Это арифметика, Катя. Простая арифметика.

— А если я откажусь?

— Тогда мы найдём другое имя. — Он сказал это спокойно. — У нас есть Тихонов. И Ветров. И ещё десяток людей, которых никто не хватится. Твоя мать — не единственная.

— Но вы хотите её.

— Я хочу, чтобы ты поняла. — Он вздохнул. — Твоя мать уже двадцать лет платит. Огонь не взял её тогда. Он взял твоего отца. Но долг остался. Он рос. Теперь он больше, чем она. Если мы не отдадим её имя, огонь возьмёт другое. Может быть, твоё. Может быть, Тимы.

Я вздрогнула.

— Не смейте говорить о моём сыне.

— Я не угрожаю. Я объясняю правило. — Аркадий по-

смотрел на отца Сергия. — Скажи ей.

Священник поднял голову. У него были красные глаза.

— В книге есть приписка, — сказал он. — Огонь не прощает долг. Он его переносит. На детей. До третьего колена.

— Это суеверие.

— Это правило, — сказал он. — Я читал книгу. Я её всю прочитал. Там есть записи, где вместо матери уходил сын. Вместо отца — дочь. Огонь берёт того, кто ближе.

Я посмотрела на него. Потом на Аркадия. Потом на стол с печеньем и стаканами.

— Я не дам её, — сказала я.

— Тогда найди другое имя, — сказал Гущин. — До двенадцатого.

Я вышла и закрыла за собой дверь. За ней снова заговорили, тихо и деловито, как будто ничего не произошло. Я посмотрела на лужу, которую оставила на паркете. Никто не вышел с тряпкой.

Дома мать сидела на кухне и ела суп. Она была в халате, с распущенными волосами, и выглядела почти нормальной. Тимка делал уроки за столом.

— Мам, — сказала я. — Ты помнишь папу?

Она подняла голову. Ложка замерла в воздухе.

— Колю? — спросила она.

— Николая Степановича.

— Помню, — сказала она. — У него были горячие руки.

— А что ещё?

Она задумалась. По её лицу прошла тень, как облако по снегу.

— Он пел, — сказала она. — Когда топил печь. Вот так. — Она попробовала изобразить мелодию, но получился только выдох. — Не помню.

— А почему он ушёл?

Она посмотрела на меня. И вдруг её глаза стали ясными, как в тот день, когда она заставила меня выучить таблицу умножения.

— Он не ушёл, — сказала она. — Он остался. В котельной. Он там, Катя. Он греет.

— Мама...

— Я его вижу. — Она наклонилась ко мне. — Иногда. Когда окно открыто. Он стоит у трубы и машет. Он говорит, что ему холодно. Он говорит, что его забыли.

Я взяла её за руку. Пальцы были холодные, как вода из-под крана.

— Мама, — сказала я. — Ты подписала бумагу. В две тысячи четвёртом. Ты помнишь?

Она отняла руку. Её лицо снова стало пустым, как чистая страница.

— Какую бумагу? — спросила она.

Я не ответила.

В ту ночь я не спала. Я сидела на кухне, смотрела на телефон и думала. В снимках было триста двенадцать страниц. В книге — триста двенадцать имён. В городе — восемь тысяч

человек, которые спали в тепле и не знали, чем оно оплачено.

В два часа ночи мать вышла из комнаты. Она стояла в дверях, босая, в ночной рубашке, и смотрела на меня.

— Катя, — сказала она. — Не давай им меня.

— Не дам, — сказала я.

— Я уже один раз умирала, — сказала она. — Тогда было не страшно. Было холодно. А теперь я боюсь.

Она подошла и села рядом. Я обняла её. Она была лёгкая, как ребёнок.

— Коля меня вытащил, — сказала она. — Он взял мой холод. Он всегда брал мой холод.

За окном шёл снег. Внизу гудела котельная.

— Мама, — сказала я. — А что он пел?

Она закрыла глаза и тихо, без мелодии, пропела:

— «Баю-баюшки-баю, не ложися на краю...»

Я замерла. Эту песню я знала. Я слышала её в детстве. Я думала, что её пела мать.

— Это он пел? — спросила я.

— Он, — сказала мать. — Он всегда пел, когда топил. Он говорил, что огонь любит, когда ему поют.

Она уснула у меня на плече. Я просидела так до утра, слушая, как в трубах шуршит снег.

А в шесть утра в дверь позвонили. На пороге стоял Аркадий Игнатьевич, в пальто поверх пижамы, без галстука. В руке он держал лист бумаги.

— Список изменился, — сказал он. — Двенадцатого мы

берём Тихонова. Твоя мать — тринадцатого. Если ты не найдёшь замену до двенадцати, мы возьмём обоих.

— Обоих?

— Огонь просит больше. — Он посмотрел на меня. — Он чувствует, что ты сопротивляешься. Он хочет гарантию.

— Вы с ним разговариваете?

— Я с ним работаю, — сказал Аркадий. — Двадцать лет.

Он ушёл. Я осталась стоять в дверях. За спиной, в квартире, спали моя мать и мой сын. Под нами горел огонь, который требовал ещё одно имя.

И я вдруг поняла, что у меня нет ни одного.

Глава 4
Четвёртая дверца

Саша Гуляев пришёл на практику в конце декабря, но на смену вышел только в январе, после праздников. Ему было девятнадцать. Худой, длинный, в спецовке с чужого плеча, с руками, которые всё время что-то крутили: ключ, ручку, обрывок провода.

Обувь у него была особенная. Кирзовые ботинки, сорок пятый размер, начищенные до блеска, хотя на улице было минус тридцать. Я спросила, не жмёт ли.

— Жмёт, — сказал он. — Это отцовские. Мне в детдоме отдали, когда выпускали. Сказали: «Носи, не снимай». Я и не снимаю.

— А отец где?

— Не знаю. — Он пожал плечами. — Мне сказали, он умер. Но я думаю, он просто ушёл. Как все.

Он улыбнулся. Улыбка у него была открытая, детдомовская: быстро появляется и быстро гаснет, как будто он не уверен, что ей рады.

— Здрасьте, — сказал он. — Я от училища. Меня Аркадий Игнатьевич прислал.

— Ты умеешь что-нибудь? — спросила я.

— Могу поднести. Могу подкрутить. Могу не мешать.

— Последнее — самое важное.

Я провела его по котельной. Показала котлы, дымосос, насосы, водомерное стекло, предохранительный клапан. Рассказала про давление, температуру, обратку, подпитку. Он слушал внимательно, кивал, повторял за мной слова, как ученик в церкви.

— А это что? — спросил он у задней стенки котла.

Там, ниже топки, была маленькая чугунная дверца. Сантиметров двадцать на двадцать пять. Без ручки. По краю — следы сварки, грубые, как шрам. Краска на ней обгорела до металла.

— Лаз для чистки, — сказала я. — Зольная камера. Заварено.

— Зачем?

— Чтобы никто не лазил.

— А что там?

— Зола.

Саша присел на корточки. Провёл пальцем по сварке.

— Тут тепло, — сказал он.

— Котёл горячий. Всё тепло.

— Нет. Вот тут. — Он приложил ладонь к дверце. — Как будто изнутри дует.

Я посмотрела на дверцу. Я проходила мимо неё тысячу раз. Никогда не задерживалась.

— Отойди, — сказала я. — Не мешай.

Он отошёл. Но ещё несколько раз оборачивался.

В углу, на старом матрасе, лежал Уголёк. Чёрный пёс с

обожжёнными ушами, подобранный Нюрой года три назад. Она нашла его в зольном ящике, когда выгребала шлак. Он был маленький, мокрый и не визжал. Только смотрел. Уши у него были обожжены так, что шерсть на них не росла.

— Он странный, — сказал Саша.

— Он старый.

— Он не старый. Он ждёт.

Я не стала спрашивать, кого.

После обеда пришёл Тимка. У него закончились уроки, а дома была бабушка, которая могла забыть, что на плите суп. Я разрешала ему приходить в котельную: здесь было тепло, здесь был мой диван, здесь были книги. Он сидел в операторской, делал уроки, пил чай. Иногда помогал мне — подавал лопату, открывал заслонку.

В тот день он пришёл с рюкзаком и с пакетом печенья. Уголёк поднял голову, вильнул хвостом. Тимка сел рядом с ним на матрас.

— Мам, а кто это? — спросил он, глядя на дверцу.

— Никто. Зольная камера.

— Там дядя.

Я обернулась.

— Какой дядя?

— В тулупе. Он сидит. — Тимка сказал это спокойно, как будто говорил о соседе. — Он говорит, что ему холодно.

У меня по спине прошёл холод.

— Тима, — сказала я. — Там никого нет. Там зола.

— Я знаю. — Он пожал плечами. — Но он там.

Саша смотрел на дверцу. Уголёк смотрел на дверцу. Тимка смотрел на дверцу.

— Пойдём домой, — сказала я. — Быстро.

— Мам, он сказал, что ты его знаешь.

Я схватила Тимку за руку и вывела из котельной. На лестнице он ещё говорил:

— Он сказал, что ты не помнишь, как он пел. Он сказал, что ты вспомнишь.

Я привела его домой, усадила за стол, налила чаю. Мать спала. Я закрыла дверь в её комнату и вернулась на кухню.

— Тима, — сказала я. — Ты это придумал?

— Нет.

— Ты видел кого-то в котельной?

— Нет. Я слышал.

— Как ты слышал?

— Как ты слышишь, когда я звоню по телефону. — Он посмотрел на меня. — Только с той стороны стены.

Я села напротив. У меня тряслись руки. Я спрятала их под стол.

— Что он сказал?

— Он сказал: «Скажи Кате, что я не сержусь». — Тимка откусил печенье. — И ещё сказал, что дверь надо открыть. Но не сейчас. Пока ещё рано.

— Рано? Почему рано?

— Потому что огонь ещё не готов. — Тимка нахмурил-

ся, вспоминая. — Он так сказал. «Если открыть рано, огонь возьмёт её вместо меня».

У меня пересохло в горле.

— Кого её?

— Не знаю. — Тимка пожал плечами. — Мам, а можно я ещё печенье возьму?

Я кивнула. Он взял печенье и ушёл в комнату.

Я сидела на кухне, пока не стемнело. Потом надела куртку и спустилась в котельную.

Толя уже ушёл. В подвале было тихо. Дымосос гудел, насосы перекатывали воду, в топке трещал уголь. Уголёк лежал у дверцы. Он не поднял головы, когда я вошла.

Я присела рядом. Дверца была тёплая. Не как металл в горячем подвале — по-другому. Как будто с другой стороны кто-то держал ладонь.

Я приложила ухо.

Сначала я слышала только гул. Потом — потрескивание. Потом — ветер в трубе.

А потом — голос.

Он был тихий, как будто шёл через толстую стену. Но я узнала его сразу. Я не помнила лица отца. Я не помнила его слов. Но я помнила голос.

— Катя, — сказал он. — Ты выросла.

Я отшатнулась. Ударилась спиной о котёл. Заслонка звякнула.

— Кто здесь? — сказала я.

Никто не ответил.

— Кто здесь?!

Уголёк поднял голову. Он смотрел не на дверцу. Он смотрел на меня. И в его глазах было что-то человеческое, чего я никогда не видела у собак: жалость.

Я укусила себя за руку. Больно. Значит, не сплю. На ладони остались следы зубов — белые, потом красные.

— Если ты это, папа, — сказала я, — скажи что-нибудь. Что-нибудь, что знал только ты.

Тишина. Ветер в трубе.

— Ты пел, — сказала я. — Баю-баюшки-баю. Ты всегда пел, когда топил.

И тогда из-за дверцы, глухо, как из-под земли, донёсся звук. Не слова. Мелодия. Простая, как считалка. Отец насвистывал её, когда я маленькая сидела у него на коленях.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.